

**АЛЕКСАНДР ГРЯЗЕВ**



## **ПОРА, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО**

*Александр Алексеевич Грязев родился в 1937 году в Дальневосточном крае, на станции Лондоко. Детство прошло в селе Железный Борок Буйского района Костромской области. Окончил Московский историко-архивный институт и Высшие театральные курсы при ГИТИСе.*

*Прозаик и драматург. Автор нескольких книг прозы и пьес.*

*Член Союза писателей России. Живет в Вологде.*

**РАССКАЗЫ**

### **Грешен, батюшка**

Свой полувековой юбилей Алексей Павлыч Печекладов встретил, как он считал, вполне достойно.

Сперва в бывшем «красном уголке» автоколонны, где он слесарил, эту его дату отметили на общем собрании. Сам начальник колонны Березин вручил юбиляру почетную грамоту и подарок — чайный сервиз в белой картонной упаковке, перевязанной ярко-красной лентой. Женщины из конторы преподнесли цветы и даже читали стихи, ими же, похоже, и написанные. А хороших слов о нем было сказано сразу столько, сколько Алексей Павлыч за свою жизнь не слышал. И добрый-то он, и отзывчивый, и бескорыстный, да к тому же и семьянин, каких еще поискать. Вроде бы и слова говорились правильные, хорошие, но Павлыч смушался от таких похвал и все думал, что это толкуют не о нем, а о каком-то совсем другом человеке.

Потом в той же комнате, пока мужики курили, женщины накрыли скорый стол с бутербродами, газированной водой и легкими закусками. Правда, сам Павлыч тоже участвовал в этом, еще накануне выложив деньги на водку для мужиков и вино для женщин.

За стол не садились. Пили и ели стоя. По-нынешнему и новомодному это называлось иноземным и вполне гастрономическим словом «фуршет» и походило на перекус в какой-нибудь забегаловке и, конечно, отличалось от привычного застолья. Но люди вокруг стола были все свои и опять в адрес юбиляра говорили слова добрых пожеланий во всех его делах. И Павлычу снова было приятно на душе.

Однако «фуршет» длился недолго. В этом, видно, и было его преимущество перед застольем, и вскоре все засобирались домой, благо рабочий день давно кончился.

Прихватив коробку с чайным сервизом и цветы в хрустящей бумажной обертке, поехал домой, в свое заречье, и Алексей Павлыч. Там ждала его жена Валентина, тоже готовившая сегодня праздничный стол.

А вечером к этому столу пришли самые близкие Павлычу люди: младший брат Валера с женой Тamarой, дочка Лена с зятем Николаем и трехлетней внучкой Ксюшкой. Не было сегодня только старшей дочери Нади. Увез ее муж-офицер на новое место службы далеко от дома, куда-то аж под Владивосток. Теперь только в отпуск их и ждать можно.

За семейным столом опять были поздравления, цветы, поцелуи, пожелания доброго здоровья, многолетия жизни и, конечно, воспоминания о былом и по-всякому пережитом.

Гости разошлись поздно, и Алексей Павлыч с Валентиной легли спать далеко за полночь.

Наутро Павлыч проснулся в совершенном одиночестве. Валентина ушла на свою работу в бухгалтерию железнодорожной станции, а у него самого был взят двухнедельный отпуск по случаю юбилея. Благо работы на всех не хватало и начальство было щедро на отпуска. После вчерашнего дня и вечера побаливала голова, жгло в груди, и Павлыч решил дома не отлеживаться.

Сначала он пошел в соседний рыбный магазин, где почему-то торговали бочковым пивом. Павлыч, если случалось, никогда не опохмелялся вином или водкой, но, чувствуя жажду и какое-то горение внутри, заливал этот пожар души только пивом.

Поправившись, он поехал к концу смены на свою работу и угостил тех ребят, которые вчера не были на его празднике. Возвернулся Павлыч домой поздновато и изрядно навеселе. Валентина не сказала ему ни слова, и он, тоже ничего не говоря, сразу же рухнул на кровать.

Третий день Павлыч опять начал с пива в кафетерии рыбного магазина, где неожиданно встретил уже полузабытого им армейского сослуживца, потом еще одного старого знакомца, и домой опять явился под большим «градусом». Правда, на этот раз еще до прихода Валентины с работы и лег спать, так и не увидев ее.

Четвертым днем была суббота. Проснувшись и ополоснувшись холодной водой, Павлыч снова было засобирился на выход из дома, но тут слово взяла Валентина.

— Все, — решительно сказала она, отбирая у него одежду. — Больше никуда не пойдешь! Хватит!

— Ты чего это, Валь? — слабо возразил супруге Алексей Павлыч.

— А того, что хватит тебе пить. Ты чего это разгулялся-то вдруг?

— Не вдруг, сама знаешь. Полста лет один раз бывает.

— Подумаешь, какое событие. Отметим ведь и так хорошо. Чего на всю-то вселенную орать?

— Ладно, ладно, Валь, не ругайся, — примирительно произнес Павлыч.

Он понимал, конечно, что жена была права. Никогда не бывало прежде, чтобы он гулял по три-четыре дня. Все это и впрямь походило уже на запой, и, хотя Павлыч оправдывался перед самим собой круглой датой со дня рождения, где-то в уголке души он чувствовал свою вину.

— Я только пивка выпью, Валь, и сразу домой приду, — добавил Павлыч.

— Я сказала — никуда не пойдешь, — твердо стояла на своем Валентина. — Я знаю, ты в пивной сразу алкашами обростешь.

— Так ведь горит нутро-то. И голова трещит. Неужели позволишь страдать? — не сдавался Павлыч.

— Я такого не испытывала, не знаю. Но пострадать тебе не худо будет... За пивом я сама схожу, а ты сейчас же в постель под одеяло. Жди, страдай, думай.

— О чем думать-то такой головой?

— А о том, например, что чем по пивным-то да друзьям шататься, ты лучше бы в эти дни в церковь ходил. Родителей помянул, исповедовался, причастился. А ты даже и не подумал об этом.

— Почему это? Я в прошлом году на Пасху причащался.

— В прошлом году — да, а в этом Великом посту нет. А причащаться надо в каждом.

Павлыч промолчал. Да и говорить было нечего. Забираясь молча под одеяло, он лишь подумал, что жена опять оказывалась права. А не выпустила из дома, значит, берегла, да и про церковь тоже правильно сказала.

Сама Валентина была человеком верующим. Да не из тех, кто приходит в храм только по большим праздникам или заходит только для того, чтобы поставить свечку перед иконой и, наскоро перекрестившись, опять спешит в суету городских улиц. Таких сами священники называют не прихожанами, а «прохожанами».

Валентина давно жила по церковному календарю, соблюдала большие и малые церковные православные праздники, однодневные посты по средам и пятницам, не говоря уж о постах многодневных. Она не ложилась спать без молитвы, без нее не начинала свой новый день и не садилась за стол без «Отче наш». В церковь Валентина ходила часто, особенно в ту, что находилась рядом с ее работой, за вокзалом.

Павлыч тоже считал себя человеком верующим, хотя в церковь ходил, в отличие от жены, редко. Даже когда рядом с их домом возобновилась служба в старинном храме Спаса на песках. Так что встать рано в выходной и к семи часам утра прийти в церковь на раннюю службу было для него великим подвигом, на который не считал себя способным. Что же касается причастия, то Павлыч, если говорить честно, давно забыл, как это делается.

А что, если завтра попробовать встать пораньше и сходить в церковь на исповедание, очистить от грехов свою душу, да и жене сделать приятное? Решение пришло мгновенно, и он с удивлением почувствовал, что все то, что недавно казалось неодолимым, вдруг отошло, исчезло, и он спокойно дождался той минуты, когда Валентина пришла из магазина с трехлитровой банкой светлого и даже еще пенистого пива. И Павлыч порадовался, что остался сегодня дома.

Он быстро оделся, сел за кухонный стол и сразу припал губами к банке с пивом.

— Спасибо, мать, — шумно выдохнул Павлыч после нескольких тяжелых глотков. — И прости меня за вчерашнее и позавчерашнее.

— Господь простит, — ответила Валентина своим обычным мягким и добрым голосом.

— А ты завтра в церковь пойдешь? — спросил Павлыч.

— И сегодня, и завтра.

— Знаешь, Валь, я тоже решил утром завтра с тобой пойти. Вот сегодня отлежусь, а завтра и исповедаюсь.

— Ага, разбежался. Только тебя там такого и ждут, — с некоторой иронией сказала Валентина.

— А чего? — не понял Павлыч ее иронии.

— А того, что ты больно быстрый. В церковь-то, конечно, идти можешь, а исповедоваться и причащаться — нет.

— Почему?

— Потому что перед исповедью надо, самое малое, три дня говеть: поститься, молиться, в церковь ходить. Да не просто так, а со смирением.

— Это как?

— К исповеди надо готовиться. Думать о своих грехах, помириться, с кем ругался, не веселиться и читать духовные книги... Много чего надо.

Духовные книги у жены имелись. Целая полка под божницей в спальне уставлена этими книгами, календарями, журналами, житиями святых.

— Ну что ж, — согласно кивнул Павлыч. — Надо так надо. Все так и сделаю, как ты говоришь. А на исповеди меня священник сам о грехах спрашивать будет, а мне только отвечать?

— Нет, милый, ты сам выкладывай батюшке свои грехи. Для того ты к нему и идешь. А он тебе поможет.

Раньше хоть и редко, но каждый раз, идя на исповедь, Павлыч тяготился именно тем, что надо было самому говорить о своих грехах. И он вспоминал свои детские годы, когда в церковь на исповедь его водила мать, наставляя на все вопросы батюшки отвечать: «Грешен, батюшка». Даже если и вины за собой не чувствуешь.

— А чего я ему говорить-то буду?

— Про грехи свои от последнего причастия и до сего дня. Ну, вот ты прошлым Великим постом причащался, а в этот не соизволил. Вот и первый твой грех.

— Я тогда работал и не смог.

— Не вздумай так батюшке сказать. Оправдание греха — это новый грех. Никогда не оправдывайся. Говори только: «Грешен, батюшка». Да с раскаянием, а не просто так. Понял?

— Понял, что скоро ты меня всему научишь.

— Это не я, а святые отцы учат нас, грешных.

Павлыч не стал возражать, да и сказать было нечего. Валентина и тут была права.

На другой день утром он пошел с женой в церковь и честно отстоял раннюю службу. Вечером читал Евангелие и слова святых отцов об исповеди и причастии, которые нашла для него жена. Три дня Павлыч постился, молился на сон грядущий и ото сна восстав, а накануне дня причастия сходил в церковь на вечернюю службу и перед сном прочитал положенные к этому случаю каноны и молитвы. Словом, исполнил все, что сказала ему Валентина.

Утром в день причастия Алексей Павлыч пришел в храм рано. Служба еще не началась. Лишь тихо сновали по церкви служители, возжигая лампы, протирая высокие подсвечники, в позолоте которых празднично мерцали огоньки первых зажженных свечей.

Церковь Спаса на песках хоть и была довольно старая, но заново освящалась всего лишь год назад и сейчас возобновлялась. Два ее храма, служившие в безбожное время складом для книг, сейчас преобразались в глазах. Уже сияли позолотой царские врата нового иконостаса в переднем храме, светились белизной пока еще не расписанные стены и ярко горели лампы огромного и тоже сияющего паникадила, подвешенного на длинной цепи к высокому потолку.

От этой всегдашней праздничности и благоговейной тишины, от запаха ладана и горящих свечей Алексей Павлыч, переступая порог церкви, всякий раз ощущал в себе покой и какое-то умиротворение. Ему всегда казалось, что и лица людей, приходящих в храм, становились совсем другими, нежели на улице. Они были светлее, что ли, и по-братски ближе и роднее. Не это ли и есть та самая благодать, которую ощутить душою можно лишь в Божьем храме.

Павлыч и сейчас чувствовал успокоение, но и некоторое волнение тоже. Ведь ему предстояло скоро открыто говорить о своих грехах. Все же была правда в тех словах из духовной книги о причастии, что исповедь есть подвиг самопринуждения.

Церковь понемногу заполнялась верующим народом. Большинство прихожан на короткое время задерживались у свечного ящика и проходили в летнюю половину, где уже чтением «Часов» начиналось утреннее богослужение. Остальные ожидали священника, который сегодня должен был принимать исповедь.

Исповедников скопилось довольно много, и все сгрудились у правого клироса зимней половины, где обычно батюшка за невысокой загородкой выслушивал кающихся и отпускал им грехи.

Но священников появилось двое, и люди тихо засуетились, выбирая, к кому из них встать в очередь на покаяние: к молодому с маленькой бородкой и по-юношески чистым ликом батюшке или к седебородому, с круглым лицом и уже довольно пожилому отцу Серафиму. Павлычу захо-

телось встать именно к нему. Видно, потому еще, что в прошлый раз он исповедовался тоже этому батюшке. Молодого же звали отцом Николаем, как узнал Павлыч от шептавшихся меж собой женщин, которых среди исповедников было явное большинство.

Павлыч попытался встать в начало очереди, как пришедший одним из первых, но его оттеснили две средних лет женщины, а вернее сказать, дамы с явно большим опытом стояния в магазинных очередях. Павлыч хотел им что-то сказать, возмутиться, но вовремя остановился: нельзя, подобно этим дамам, грешить в храме, да еще перед самой исповедью.

Отец Серафим вышел к исповедникам и, дождавшись, когда стало совсем тихо, заговорил. Он произносил слова негромко и обращался к тем, кто стоял ближе к нему, но слышали батюшку все.

— Дорогие мои братья и сестры! Вы пришли сегодня в Божий храм, чтобы покаяться в грехах своих вольных и невольных. Покаяние есть таинство, когда верующий человек исповедует свои грехи Самому Господу. От него же через священника получает и прощение грехов. Так покаянием очищаются и врачуются души наши, ибо только Господь — врач всех душевных недугов. Верю, что каждый из вас дома подготовился к исповеди: постился, молился, примирился с близкими, испросив у них прощения и сам их простив. Ибо сказал Господь апостолам: «Кому простите грехи, тому простятся, кому оставите, на том останутся...» Святые отцы учат, что Господь спасает нас не без нас. Да он и не наказывает, а говорит: идите за мной и спасетесь. Но человек иной не идет, отступает от Господа и тем сам себя и наказывает... Покаяние должно быть искренним, с твердым намерением не повторять более грехов своих, ибо каждый миг своей жизни мы должны помнить, что за грехи человеческие принял мученическую смерть Господь наш, а мы грехами своими вновь пригвождаем его ко кресту... Помолимся, православные...

Отец Серафим повернулся к иконе Спасителя и стал читать покаянную молитву. Потом прошел на клирос и, встав к аналою, пригласил первого исповедника.

Павлыч стоял в самой середине столпившихся у клиросной загородки людей и терпеливо ждал своей очереди. Он попытался было перебраться в памяти все, что наметил еще вчера сказать на исповеди, но мысль его путалась, перескакивая с одного воспоминания на другое, и Павлыч решил больше в уме не суетиться, и пусть будет так, как будет.

Когда подошла его очередь, Павлыч повернулся к стоящим за ним людям.

— Простите меня, грешного, — проговорил он и поклонился.

— Господь простит. И ты нас прости, — ответила ему какая-то старушка.

Павлыч подошел к отцу Серафиму и остановился, не зная, что сразу и говорить.

— Это хорошо, что ты пришел, — неожиданно сказал отец Серафим. — Мужчины все чаще стали появляться в храме, и это меня радует. У нас же все больше женщины.

Глаза отца Серафима и вправду радостно светились. Павлыч был даже немного удивлен тем, что батюшка заговорил с ним, как с хорошо знакомым человеком. После такого начала Павлычу сразу стало как-то спокойнее.

— А женщина что, — продолжал отец Серафим. — Я ей слово, а она мне десять поперек. Я говорю: замкни уста, женщина, а у нее как из фонтана. Вот на днях была одна дамочка. А я, говорит, не грешна, батюшка. Живу как все, не знаю, в чем и покаяться, и грехов своих не могу вспомнить. А дело, говорю, в том, что ты своих грехов не замечаешь и не считаешь их за грехи. Вот, спрашиваю, ты в комсомоле была? Была, отвечает. А в партии? Была, говорит. И на демонстрации ходила, и «ура» кричала? Кричала. А говоришь, что не грешна. Потом выясняется, что и аборт

делала. Вот и до убийства дошла, а все не грешна... А ты-то на демонстрации ходил?

— Грешен, батюшка, ходил. И в комсомоле тоже был. Грешен, батюшка, и в этом.

— Ну, слушаю тебя, говори дальше.

— Грешен, батюшка, что в церковь редко хожу. А еще грешен, что исповедовался и причащался я больше года назад.

— Так, так... В церковь надо чаще ходить, а исповедоваться хотя бы в каждый пост да в день своего Ангела. Ну а если какой грех случится, то надо сразу на исповедь бежать... Это все во спасение. Раскаявшийся грешник Господу угоден. Ну, что еще?

Павлыч ненадолго задумался, вспоминая.

— Грешен, батюшка, что редко родителей поминаю.

— Так... — кивнул батюшка.

Павлыч опять задумался.

— Выпиваешь ли вино? — спросил отец Серафим, желая, видно, помочь исповеднику.

— Грешен, батюшка, бывает.

— Как раньше отцы наши говорили: «Взгрустнешь в похмельной думочке, помолитесь творцу, и снова тянет к рюмочке и снова к огурцу». Не так ли?

— Грешен, батюшка... Все так и есть.

— Выпить можно, но не допьяна. Кто же допьяна упивается, тот общается с дьяволом, а значит, предает Христа. На пьянице Иудин грех. Помни это.

— Еще грешен, батюшка, что телевизор много смотрю. Приду, бывает, с работы и почти весь вечер сижу у телевизора.

— Человеческий разум — дар Божий, — заговорил отец Серафим. — Этим разумом, а стало быть, Божьим промыслом сделаны все изобретения. В их числе и телевизор. Другое дело, что плодами разума человек часто пользуется во зло, а не в добро себе и людям. Можно и из телевизора сделать чудиле дьявольское, если показывать по нему пороки человеческие, насилие, кровь и обман — все, что разрушает душу. И все это выдавать за добродетель. Сейчас у многих и телевизор-то стоит в красном углу вместо икон. А перед телекамерами часто сидят телебесы. Они входят в каждый дом и сеют в души людей тревогу. Они лгут с утра до вечера, а ложь — оружие дьявола. Вот почему спасение в молитве, в храме Божиим. Так что пореже включай свой телеящик и не поддавайся телебесам... Не ходишь ли к колдунам? — неожиданно спросил отец Серафим.

— Грешен, батюшка. Опять же по телевизору видел, сидел и слушал каких-то экстрасенсов.

— Да, опять же задолго до нас великие умы говорили: таков наш век — слепцов ведут безумцы. Не участвуй больше в этих делах тьмы. Что и говорить, тяжело нынче русскому человеку. Со всех сторон ползут дьявольские силы на Русь. Одна американизация умов чего стоит. А проповедники разных еретических сект из той же Америки — этой империи зла? Настоящая духовная агрессия против нас и душ наших. И не Россию саму по себе дьявольские силы считают врагом своим, а Церковь нашу Христову — веру православную. Мешает она им жить вольно и творить грехи. Верой православной построена Россия. Не будет ее — погибнет и Отечество наше. Вот тут и надо быть твердым, укрепляться в вере и саму веру православную крепить. Только в ней и спасение. Торжество же зла временное. Надо только верить... Понимаешь ли меня?

— Очень даже понимаю вас, батюшка, и согласен с вами.

— А вот на «вы» меня звать не следует.

— Как так? — не понял Павлыч.

— Ты «Отче наш» прочитай-ка, — предложил отец Серафим.

Чего-чего, а молитву эту Алексей Павлыч знал хорошо и прочитал без запинки.

— «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя», — повторил за Павлычем батюшка. — Так мы обращаемся ко Господу, а ты меня, выходит, выше Его ставишь, когда на «вы» называешь. А ведь это обращение пришло к нам с Запада при царе Петре. Иноземное оно, холодное и какое-то не братское, в общем, не русское. На Руси же люди всегда обращались, даже к царям, на «ты», но с отчеством... Ну, что еще припомнишь?

— Грешен, батюшка, что обижался иногда на сослуживцев своих, гневался, чертыхался. Одного своего товарища напрасно подозревал в нечестности, ленился на работе, а особенно дома. Жене вот слово не раз давал прихожую обоями оклеить и потолок побелить, да все ленюсь. Бывало, что и сквернословил, — перечислил Павлыч вспомнившиеся ему грехи свои и остановился.

— Сквернословием душа смердит... Не завидовал ли кому? — опять спросил отец Серафим.

— Грешен, батюшка, было... Вот недавно шел по улице, вижу — дом двухэтажный кирпичный кто-то себе построил. Вот, думаю, мне бы такой, да где денег взять... Позавидовал богатому.

— Зависть отравляет душу. А богатым не завидуй. Часто там, где богатство, живет духовная пустота. В Евангелии сказано: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». Богатые благотворители Господу угодны, а богатые ради самого богатства ничтожны, и их надо пожалеть. И молиться о них... Читаешь ли святых отцов?

— Грешен, батюшка...

— Читай и там узришь душой все, что тебе надобно... Помни: то, что было, никогда не будет, то, что будет, знает один Господь. Старайся жить праведно сегодня. Возьми за правило каждым вечером прочитывать одну-две главы Евангелия. Молись ежедневно и старайся не грешить... Как имя твое?

— Алексей, — наклонив голову, сказал Павлыч.

Отец Серафим накрыл голову Алексея Павлыча епитрахилью, перекрестил и зачитал разрешительную молитву:

— Господь и Бог наш Иисус Христос благодатию Своею, человеколюбием, — услышал Павлыч, — да простит тебе, чадо Алексей, согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властью Его, мне данную, прощаю и разрешаю тебя от всех согрешений твоих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Отец Серафим снял епитрахиль с головы Павлыча. Тот, перекрестившись, приложился к Евангелию и кресту на аналое и, сложив для благословения руки, повернулся к батюшке. Отец Серафим благословил и отпустил его.

Павлыч присоединился к верующим в летней половине храма, когда на возвышении против царских врат появился дьякон и, взмахнув рукой, запел «Верую». Все молящиеся подхватили и громким хором продолжили ес. А Павлыч ощутил вдруг в себе чувство какого-то единения с теми, кто сейчас стоял рядом. Ему было лишь неловко сознавать, что он плохо знает слова этой древнеправославной молитвы. Прошедшая через века, она и сегодня звучала как клятва на верность — торжественно и утверждающе.

Так Павлыч стоял и молился до тех пор, пока дьякон снова не вышел на амвон, и по его знаку верующие стали читать «Отче наш». И Павлыч вместе со всеми громко проговорил слова молитвы.

Потом из алтаря через широко распахнутые царские врата с чашей-потирием в руках и в праздничном облачении вышел на амвон отец Серафим. Два алтарника встали по бокам батюшки, держа под чашей широкий плат.

Сразу же к амвону поспешили исповедники для причастия. Павлыч тоже, скрестив руки на груди, подошел к чаше. Он опять назвал свое имя. Отец Серафим ложечкой достал из потира частицу Святых даров и положил Павлычу в открытый рот, громко проговорив при этом:

— Причащается раб Божий Алексей в отпущении грехов своих и в жизнь вечную.

Павлыч проглотил Святые дары, что означало вкушение Тела и Крови Христа, и через это стал причастником вечной жизни. Он поцеловал край чаши, повернулся от отца Серафима, который причащал уже другого исповедника, и, подойдя к стоящему среди храма столику, запил теплой водой причастие.

После причащения служба длилась недолго. Закончив литургию, отец Серафим вышел на амвон с большим серебряным крестом в руках и произнес небольшую проповедь. Он говорил о всеобщей любви христианской, о любви к ближнему, к Церкви православной и Отечеству. Вроде бы все слова, которые произносил отец Серафим, были давно знакомы Павлычу, но под сводами храма они звучали по-особенному и западали в душу.

— Легко любить тех, кто тебя любит, а вот любить и молиться за врага своего подвиг есть христианский, — громко вешал отец Серафим. — Напомню вам, православные, слова апостола Павла: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы... А любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится...»

После проповеди к отцу Серафиму потянулись верующие, чтобы приложиться ко кресту. Это знаменовало конец службы. Алексей Павлыч тоже поцеловал крест и вышел из храма.

Перекрестясь и поклонясь образу Спаса над входом церкви, Павлыч неторопко зашагал к дому.

Майский солнечный день был в самом разгаре, и на улице все казалось праздничным. На душе Алексея Павлыча было также светло и умиротворенно. Он шел, никого не замечая, и на перекрестке у комиссионного магазина, уже поворачивая на свою улицу, услышал вдруг громкий возглас:

— Леха!.. Печекладов!..

Павлыч оглянулся на крик, и на той стороне перекрестка увидел двоих машущих ему руками мужиков. Он сразу узнал их, друзей своего детства Алика Новоселова и Вовку Фунтикова. Они дождались, когда по перекрестку прошли машины, и подбежали к Павлычу.

— Леха!.. — опять кричал Алик. — А мы с унтом думаем: ты или неты? Здорово, дружан!

— Здорово, ребята, — пожал Павлыч руку каждого из друзей.

— Давно что-то тебя не видать, Леха. Как живешь-то хоть? — спросил Вовка.

— Да ничего вроде пока... Работаю. Нормально все вроде бы.

— Слушай, Лех. Мы тут с Аликом как-то вспоминали тебя. Алик вот зимой полста лет разменял, у меня скоро будет, а у тебя где-то рядом, кажется, было. А?

— Было... неделю назад.

— Во! Слышь! — опять вскричал Алик. — И он об этом так спокойно говорит! И кому? Другьям своего детства! Ты забыл нас, что ли?

— Как это забыл? Обижаетесь, Алик, — ответил Павлыч.

Он, конечно, ничего не забыл. Да и как забыть ее, теперь уже так далекую зареченскую жизнь! Как забыть детские игры, велосипедные гонки

на городской окраине и до самых подгородных деревень, переплытие реки, разделявшей город, что вообще считалось тогда мальчишеской доблестью, как и попадание «зайцами» в кинотеатр «Заречье», что стоял, да и теперь стоит на улице Пугачева, отчего всех их, тогдашних сорванцов, звали пугачевцами. Они и в школе учились вместе, а развела их только армия. Возвратившись домой, каждый начал свою жизнь, и виделись они довольно редко...

Встреть Алексей Павлыч Алика и Вовку еще неделю назад, то пошел бы с ними куда угодно. Но сейчас он вдруг почувствовал, что ему не хочется никуда идти, а тем более выпивать, если предложат. Он, конечно, был рад встрече с товарищами школьных лет, но как объяснить им все события недавних дней или сказать о том, откуда он идет сейчас. Ребята, наверное, его просто не поймут. Павлыч был в какой-то растерянности.

— Да я ведь, ребята... — попытался что-то сказать Павлыч.

— Да мы и так знаем, что это ты — Леха Печекладов. А мы твои школьные друзья и хотим выпить за твои пятьдесят.

— За наши пятьдесят, — поправил друга Вовка Фунтиков.

— Ну и за наши тоже, конечно, — согласился Алик. — Так чего ты молчишь-то, Леха? Ты, гляжу, сегодня какой-то не такой. А?

Павлыч понял, что ему не отказать.

— Да я ничего... А где?

— Да хоть где. Теперь с этим делом красота, — обрадованно сказал Алик. — Да вон хотя бы в том подвальчике. И искать долго не надо. Вперед, пугачевцы!

— Вперед! — подтвердил Вовка Фунтиков.

Павлыч последовал за ними на другую сторону улицы, где на углу, в подвале одного из домов, находился пивной бар, давно ему знакомый. Это была обыкновенная пивнушка: табачнодымная, тесная и грязная, за что и прозванная окрестными жителями «В мире животных».

С улицы вела в подвал крытая, мрачная лестница, которая там, внизу, подходила к дверям подвального коридора, где было темно во всякое время дня.

Алик и Вовка стали спускаться вниз, а Павлыч остановился на верхней ступеньке и обернулся.

Над крышами домов возвышался купол церкви Спаса на песках, где он только что был и молился. В майской синеве неба сиял, да не просто сиял, а горел позолотой крест, и казалось, что лучи этого золотого сияния озаряли все окружающие дома и закоулки.

— Леха! — крикнул снизу Алик. — Давай спускайся! Чего ты?

— Господи, прости меня и помилуй, — прошептал Алексей Павлыч. Он перекрестился и шагнул в темноту подвала, как в преисподнюю.

## Пора, ваше величество

Кинорежиссер Вадим Репнин, ранним утром появившийся на съемочной площадке, был в плохом настроении. Да и откуда быть хорошему, коли опять возникли проблемы с финансированием его многострадального фильма о последнем императоре России Николае Втором, причисленном недавно к лику святых отцов православных?

Всего лишь в мае, в первый день начала съемок, Репнин, по традиции, разбил о ножку штатива кинокамеры на счастье и удачу белую тарелку с голубым ободком, а из-за нехватки денег работа над фильмом останавливалась за лето дважды. И вот сейчас, в самом конце августа, над съемками опять нависла угроза безденежья: на банковском счете было пустынно тихо.

О прежних, не таких уж далеких временах, когда о подобных задержках даже подумать было нельзя, приходилось лишь с грустью вспоминать, и вот сегодня, если директор картины со своими помощниками не договорится с благотворителями, то съемочный график опять нарушится.

Впрочем, Репнин старался не подавать виду, что его плохое настроение зависит от финансовых проблем, что все это из-за дел творческих. К тому же Вадим был верующим человеком и знал, что никогда не надо отчаиваться. А сегодня есть работа, и ее нужно делать, несмотря ни на что, а там как Бог даст.

С этой мыслью Репнин, поговорив с актерами, занятыми в очередном эпизоде, и заглянув в глазок кинокамеры, сел в кресло, рядом с ней поставленное, и сразу же ощутил на душе какое-то облегчение. Он окинул взглядом съемочную площадку, представляющую собой рабочий императорский кабинет, арендованный для съемок у музея, глянул на верного единомышленника и друга оператора Толю Заболотнова, который ответил ему кивком головы, спросил о готовности осветителей, звуковиков, актеров, а когда все ее подтвердили, перекрестившись, громко произнес в наступившей тишине:

— С Богом! Начали... Мотор!

Ровно застрекотала кинокамера, и тут же перед нею появилась ассистентка с деревянной дощечкой-хлопушкой в руках, на которой были записаны название фильма, номер кадра и дубля. Проговорив все это еще и словами, ассистентка хлопнула дощечкой и быстро удалилась, дав дорогу основному действию.

Репнин очень любил этот момент киносъемки, когда, повинувшись его воле, зажигался яркий свет, работала кинокамера, перед которой разворачивалось действие, придуманное им же. Это были благостные для его души минуты, в которые он чувствовал себя творцом и верил в то, что происходило перед ним.

Вот и сейчас, глядя на начавшуюся съемку, он думал и свято верил, что в той далекой реальной жизни все было именно так.

Государь император Николай Александрович Романов сидел за письменным столом в своем царскосельском кабинете и писал, склонившись над белым листом бумаги. Иногда он поднимал голову и подолгу глядел в большое окно, за которым стоял серый августовский день, и порывы ветра шевелили листву деревьев дворцового парка.

Видно было, что многие мысли одолевали этого человека в походной офицерской гимнастерке с погонами полковника русской армии.

А думать и в самом деле было о чем...

...С прошлого лета по западным землям Российской империи тяжелыми и кровавыми шагами под музыку артиллерийских залпов идет великая война. Под ружье поставлено почти пятнадцать миллионов мужчин — молодость и цвет подданного ему народа. Всего лишь год минул, а ему кажется, что прошло многолетие жизни с той поры, как подписал он манифест о войне между Россией и Германией. Может быть, вспоминал он сейчас слова того манифеста, им же самим и написанные:

«...С спокойствием и достоинством встретила наша великая матушка Русь известие об объявлении нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца».

Да, видит Бог, Россия не хотела войны. Она выступила на защиту своих славянских братьев-сербов, когда Австрия отвергла мирное решение сараевской трагедии и первой стала бомбить Белград.

А как не задуматься было ему, государю земли русской, о вероломстве германского императора Вильгельма, кузена Вилли, у которого он был в гостях всего за год до войны, на свадьбе императорской доч-

ки. И через год Вилли объявляет войну России, а стало быть, и ему — Никки!

Какою же черной злобой затмило разум говоруна Вильгельма, что он пошел войной на страну своего брата! Долго, видно, та злоба копилась. Уж не с того ли их свидания в пятом году на яхте «Полярная звезда» в балтийских водах у Бьерке, когда Николай, делая вид, что поддался уговорам Вилли, подписал договор о русско-германском союзе, подсунутый ему германским императором? Но тот договор был явно направлен против Франции — союзницы России, и, прибыв в Петербург, Николай отказался от такого союза, отправив Вильгельму ноту. Говорят, что, прочитав ее, Вилли взбесился и затаил с той поры на Никки обиду, хотя внешне ее никогда не проявлял.

А может быть, вспомнилось ему, как, получив паническое послание о помощи французского президента Пуанкаре, где тот писал, что немцы вот-вот займут Париж, двинул он сразу две армии в Восточную Пруссию, которые отвлекли дивизии немцев от Парижа, заплачено было за это спасение очень дорогой ценой — жизнями многих тысяч русских солдат и офицеров. Как можно такое забыть?

После первых побед в Галиции к лету нынешнего, пятнадцатого года из-за нехватки резервов, особенно снарядов, да и, что греха таить, из-за бездарного командования начался отход русских армий от занятых кровавыми боями рубежей. И вот в июне враг захватил Львов, затем и всю Галицию, пал Перемышль, а за ним Варшава, Ковно, Брест-Литовск... Катастрофа была неминуемой.

Вот почему он, государь император Николай Второй, на днях сместил Верховного главнокомандующего русскими войсками и своего двоюродного дядюшку великого князя Николая Николаевича и взял груз тяжких забот об армии и России на себя...

...Николай даже не заметил, как в кабинете появился дежурный генерал-адъютант Бенкендорф.

— Позвольте, ваше императорское величество? — негромко произнес он, деликатно кашлянув.

Государь повернул голову от окна и посмотрел на вошедшего обер-гофмаршала каким-то рассеянным взглядом.

— Ах, это вы, Павел Константинович? Да, да... Что там у вас?

— Пора, ваше величество, — опять негромко сказал Бенкендорф.

— Что — «пора»? — не понял Николай.

— Ваше императорское величество, вы изволили приказать подготовить два мотора, чтобы ехать на станцию. Моторы готовы, ваше величество.

— Чтобы ехать на станцию... — задумчиво повторил Николай слова Бенкендорфа. — А оттуда в Ставку, и там взять бразды правления армией в свои руки. Так?

— Так точно! Согласно принятому вами решению. Судьба России в ваших руках. Так что пора, ваше величество.

— Ну, что ж... Пора так пора.

Государь вышел из-за стола, поправил гимнастерку под широким кожаным ремнем и, взяв портсигар, достал оттуда папиросу своих любимых «Сальве» и вставил ее в пенковый\* мундштук.

Зная, что царь никогда не спешит, равно как никогда и не опаздывает, генерал Бенкендорф терпеливо ждал, пока Николай закурит и сам продолжит разговор.

Так и случилось.

Государь встал перед своим письменным столом, прикурил от спички папиросу, пригладил рыжеватую бородку и, внятно выговаривая, по обыкновению, каждое слово, вдруг спросил:

\* П е н к а — ископаемое, из которого делают трубки (В.Даль).

— А как вы сами, Павел Константинович, оцениваете мое решение стать Верховным главнокомандующим?

— Самым положительным образом, ваше величество. В сей трудный для родины час вы вершите подвиг, беря на себя всю ответственность за судьбу Отечества. В этом суть самодержавия. Мы же, Бенкендорфы, всегда верно служили престолу и России. Могу ли я думать иначе?

— Знаю, Павел Константинович, — с еле заметной улыбкой произнес Николай. — Потому и говорю с вами об этом... А как вы думаете, мой отец поступил бы так же?

— Без всякого сомнения, ваше величество. Ведь и сейчас при дворе вспоминают его как человека решительного. Особенно тот случай, когда австрийский посол однажды за обедом и разговором по тому же балканскому вопросу пытался убедить императора Александра не вставать на защиту Сербии и даже стал угрожать мобилизацией двух или трех армейских корпусов. Ваш батюшка спокойно согнул из серебряной вилки петлю и положил ее перед австрийским послом, сказав при этом: «Вот что я сделаю с вашими армейскими корпусами».

— Да, да, вы правы. Спасибо, что напомнили тот случай... Ну а что думают нынче в нашем правительстве, к примеру?

Бенкендорф сделал несколько шагов к столу и раскрыл принесенную с собой кожаную папку.

— В правительстве сие известие воспринято по-разному. Большинство министров паникуют и не одобряют решения вашего величества. Такое же положение и в Думе.

— Я знаю, — кивнул Николай. — Третьего дня приезжал сюда из Думы Родзянко и пытался меня отговорить. Я, конечно, сказал ему, что мое решение бесповоротно... Но меня поразил сам факт его приезда сюда!.. Что же еще, любопытно знать, говорят наши государственные мужи?

— Министр иностранных дел Сазонов называет ваше решение ужасным и опасным.

— Так... Так...

— Министр Кривошеин на заседании говорил, что ставится ребром судьба России и всего мира. Надо протестовать, умолять, чтобы удержать его величество от бесповоротного шага. Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне, наносится удар по монархической идее.

— Эка испугал, коли на карту поставлена судьба Отечества. Я спасаю не самодержавие, а Россию.

— И это еще не все, — продолжал генерал. — Только что получено письмо, подписанное министрами и адресованное вашему императорскому величеству.

Бенкендорф подошел к Николаю и протянул сложенный вдвое бумажный лист. Государь развернул его, но читать не стал, а лишь пробежал глазами, остановившись на самом окончании письма и произнеся его вслух:

— «...Находясь в таких условиях, мы теряем веру и возможность с сознанием пользы служить Вам и Родине»... Каково?.. Это позор, а не правительство... Все бумаги возьмите с собой в поезд, Павел Константинович. Сегодня же будем думать — кого оставить в правительстве, а с кем расстаться без сожаления.

— Слушаюсь, ваше императорское величество!

— Но почему под письмом нет подписи премьер-министра? — удивился Николай Александрович.

— Премьер Горемыкин и министр финансов Хвостов письмо не подписали, — ответил Бенкендорф и опять заглянул в папку. — Вот слова Горемыкина, сказанные им на заседании правительства: «...я его не осуждаю. На фронте почти катастрофа. Он считает своей священной обязанностью царя быть среди войск и с ними или победить, или погибнуть. Он царствует и распоряжается судьбами русского народа не со вчерашнего

дня. Нам остается склониться перед его волей и помогать ему, каковы бы ни были последствия. А там дальше — Божья воля».

— Похвально, похвально, — оживился Николай. — Хоть у одного нашлись слова, не лишенные державной мысли. Слава Богу... И я рад, что не ошибся в Горемыкине... Ну что же, будем с ним вдвоем горе мыкать, — усмехнулся император и опять спросил: — А как там в Ставке?

— Сообщают, что, согласно приказу вашего императорского величества, Ставка переехала в Могилев. Ждут вашего прибытия. Великий князь Николай Николаевич отбыл на Кавказ. Начальник штаба Ставки генерал Алексеев и генерал-квартирмейстер Лукомских приступили к делам на своих местах.

— Хорошо, Павел Константинович, — сказал довольный государь император и взял со стола бумагу, над которой недавно работал. — Вот тут я набросал несколько слов моего приказа, какой оглашу, когда будем в Ставку. Послушайте... «Сего числа я принял на себя предводительство всеми сухопутными и морскими силами, находящимися на театре военных действий. С твердой верой в помощь Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посраим земли Русской». Как вы сие находите, Павел Константинович?

— Я нахожу сии слова вашего императорского величества достойными защитника своего Отечества.

— Хорошо, — кивнул император, и тихая, таинственная, как называли ее приближенные, улыбка появилась на лице государя и тут же исчезла в его аккуратной светло-рыжей бороде и усах.

Он подошел к окну и долго молча стоял и глядел сквозь огромные стекла, будто прощаясь с аллеями дворцового парка. Потом государь повернулся к собеседнику.

— Идемте, генерал. Чему уж быть — того не миновать, — решительно сказал Николай и добавил скорее для себя, чем для Бенкендорфа: — От судьбы не уйдешь.

— Стоп!.. Стоп!.. Снято!.. — вскинул руки режиссер Репнин и хлопнул в ладоши.

Софиты погасли, и в «царском кабинете» стало внезапно тихо и как-то непривычно серо. Только через высокие окна пробивался сюда дневной свет и совсем буднично освещал кинотехнику и людей, которые сейчас казались пришельцами из другого мира.

— Прекрасно! Всем спасибо! Перерыв! — громко продолжал выкрикивать режиссер. — Юра! Юра! Где Юра? Позовите помрежа!

— Я здесь, Вадим Андреич, — отозвался молодой человек в кожаном пиджаке и подошел к Репнину.

— Юра, дорогой. Сейчас перекур. Можно отдохнуть и перекусить. Потом здесь, в кабинете, мы снимем еще один дубль и выйдем на натуру. У тебя там все готово?

— Все, Вадим Андреич.

— Позаботься о массовке, пройди с ними весь эпизод. Проверь все детали. Помни: деталь — великая штука в нашем деле.

— Все понял, шеф.

Режиссер отпустил помрежа, а сам подошел к актеру Романкову, игравшему роль императора Николая, и рядом с ним стоявшему Смирнову-Бенкендорфу.

— Все идет нормально, друзья мои. И у вас, Николай Александрович, по-моему, получается убедительно сегодня, — сказал Репнин.

— Спасибо, Вадим Андреич. Мы стараемся, — с улыбкой поблагодарил режиссера Романков.

— А больше и некому, Николай Александрович. Вы — народный артист России, да к тому же почти полный тезка последнего государя зем-

ли Русской. Внешне вы с ним тоже очень схожи. Что же касается всего образа, то будем искать вместе и копать глубже... Вот в начале этого эпизода вам надо не просто сыграть, а скорее прожить мгновения жизни человека, который слов не произносит, но все мысли и чувства у него в глазах, во взгляде, все написано на его лице, или, как раньше говорили, на челе написано... Вы понимаете меня?

— Конечно. Я, по правде говоря, совсем не ожидал, что образ Николая Второго будет так сложен. Да и, к стыду своему, мало знал о нем... Очень поверхностно и искаженно.

— Не вы один. Вот мы и постараемся развеять мифы вокруг имени царя. Главное, что вам надо уяснить себе не только умом, но и всем существом своим, что Николай — личность глубоко трагичная.

— Я это давно понял, Вадим Андреич. Отсюда и хочу танцевать.

— Да, в этом ключе и будем работать, — согласился Репнин. — Ведь Николай стал императором неожиданно для самого себя, после столь же неожиданной кончины своего отца. И весь этот тяжкий самодержавный груз свалился внезапно на его плечи.

— Но ведь Александр Третий, наверное, готовил сына к наследованию престола?

— Конечно, готовил, но многого просто не успел: умер сорока девяти лет от роду. За два дня до кончины он имел разговор с сыном. Устно завещал тому Россию и сделал несколько наказов. Знаменитые слова Александра Третьего: «Помни: у России нет друзей» — как раз из того разговора. А еще он наказывал не позволять Европе вмешиваться в дела России и не пускать на ее порог западный либерализм.

— Почему?

— Потому что либерализм — основа всех смут и революций. Его корни в масонстве — яром враге самодержавия и России.

— Либералов много и в наши дни, — сказал Смирнов-Бенкендорф.

— Совершенно верно, — согласился Репнин. — Потому и много перекинуто мостиков из прошлого в наше время.

— Либералы постоянно говорят о свободе, — заметил Романков.

— А им больше не о чем говорить. Но их свобода — для избранных. Потому-то Россия сегодня ослаблена либерализмом и мнимой демократией. Правят же нами внуки тех самых кухарок, отравленных еще сто лет назад идеями западного либерализма, так чуждого русскому характеру. Все эти нынешние бездарные западники — ельцины, гайдары, бурбулисы, чубайсы, черномырдины, явлинские, немцовы, кириенки, хакамады и прочие, и прочие — отзвуки того гнева Божия, который обрушился на Россию за предательство своего государя — помазанника Господня. За тот давний грех мы до сих пор и страдаем. Вы согласны?

— Еще бы, — подтверждающе кивнул Романков. — Мне и самому противно бывает, когда наши люди прогибаются до американских каблучков. Я недавно нашел у Федора Тютчева строчки, как раз к нашему разговору о западниках:

Как перед ней ни гнитесь, господа,  
Вам не снискать признанья от Европы.  
В ее глазах вы будете всегда  
Не слуги просвещенья, а холопы.

— Очень современно! — воскликнул Репнин. — Вот это и есть мостик в сегодняшний день. Я бы эти слова выбил на стенах Государственной думы.

— Но мне еще кажется, Вадим Андреич, что нынешние демократы-западники тоже ведь своего рода революционеры.

— В том-то и дело. А революционеры — дети сатаны. И эти, нынешние, кто бы они ни были — прямые наследники того плешивого и картавого карлика, который забрался на место убиенного по его приказу русского царя.

— Но почему Николай не объявил войну этим своим внутренним врагам? — спросил Романков.

— Он с ними боролся. Но, как православный человек, не хотел крови. Враги же сочли это за слабость и продолжали разрушать российские устои. Царь не был слабым и безвольным человеком. Это — миф... В его царствование перед Германской войной Россия производила зерна больше, чем Канада, Аргентина и Штаты, вместе взятые. Половина экспорта яиц — русская. Льна, конопли мы поставляли на мировой рынок больше всех других стран, а за сливочное масло Россия выручала за границей в два раза больше золота, чем добывала его вся Сибирь... А знаменитая денежная реформа девяносто седьмого года, когда русский золотой рубль заужали во всем мире? А обращение русского императора ко всем странам с предложением о разоружении и вселенском мире в девяносто восьмом году? Никто тогда его не поддержал. И кто сейчас об этом знает и помнит? Императору всероссийскому было тогда всего тридцать лет от роду... И наконец, попытка царя искоренить пьянство на Руси и введение им сухого закона во время войны... Так разве можно после всего этого называть Николая слабым и безвольным человеком? Взяв на себя верховное командование в пятнадцатом году, он выстоял и победил. Положение в войсках при нем выправилось, и он привел русскую армию к порогу победы. Он даже получил в феврале шестнадцатого года знаки отличия фельдмаршала британской армии. Но всему помешала революция — внутренний враг оказался сильнее.

— Но государь знал, что идет на свою Голгофу, — сказал Романков.

— Да... К сожалению.

— Почему — к сожалению? Николай мог изменить свою жизнь.

— Да, мог. Но он мистически был покорен судьбе. Дело в том, что еще Павлу Первому прозорливый монах Авель предсказал судьбу его далекого праправнука, сказав, что на «веночек терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий». Павел это предсказание записал и положил в ларец, завешав вскрыть его через сто лет, что и было сделано самим Николаем Вторым. Известны ему были и слова преподобного Серафима Саровского: «Будет царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и его самодержавия. Все восставшие погибнут, а Бог царя возвеличит». Через своих духовных чад преподобный Серафим передал для будущего царя и письмо, написанное за шестьдесят лет до царствования Николая. Что там было написано — не знает никто. Известно лишь, что, прочитав его, Николай заплакал... Так что он все знал о судьбе своей и России.

— Об этом я читал и у современника царя Иоанна Кронштадтского, — сказал Романков. — Он писал, что все смуты в России начались задолго до Николая, по грехам самого народа.

— Ну конечно. Еще с декабристов и Герцена, а может, и еще раньше. Вспомните императрицу Екатерину, боровшуюся с масонами. При Николае же Втором сеть масонских лож буквально опутала Россию.

— Потому и говорил праведный Иоанн Кронштадтский, что «конец мира близок. Бог отнимет благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых, жестких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами».

— Да... Что, собственно, и случилось. А прибавьте к этим пророчествам неизлечимую болезнь сына-наследника, масонский заговор, оболваненный революционерами и так называемой интеллигенцией народ, войну и все, что с ней связано, и прочее, и прочее, и прочее... Не слишком ли много для одного человека? Язык не поворачивается назвать его слабым. Николай Романов — человек судьбы трагической. И как тут не вспомнить пушкинского Бориса Годунова: «Так решено: не окажу я страха, но презирать не должно ничего... Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!»

Впрочем, что это мы обо всем сразу. Пойдемте лучше отдохнем немного и подышим кислородом...

Они вышли на улицу, где увидели стоявших напротив подъезда два старинных автомобиля с открытыми верхами и помощника режиссера, что-то объясняющего столпившейся вокруг него «массовке».

Съемочная площадка была ограждена белым тесемочным канатом, за которым стояла, как всегда бывает на киносъемках, большая толпа любопытных: прохожих, туристов и просто праздных зевак.

Актеры уже обошли автомобили и направились по тротуару вдоль здания, как вдруг из толпы любопытствующих зрителей, стоящих на другой стороне площадки у аллеи, выбежала невысокая, худенькая старушка в серой вязаной кофте, с белым платочком на голове и засеменила к идущим актерам, помогая себе небольшим батожком. Актеры, увидев ее, остановились, а старушка, приблизившись к ним, упала вдруг перед Романковым на колени.

— Государь-батюшка! Явился! Слава Тебе, Господи! Явился! — крестясь, прерывисто дыша, говорила она и кланялась до земли.

Смирнов-Бенкендорф бросился было поднимать старушку, но Романков сразу все понял и, отстранив товарища, сам помог ей подняться.

— Иди, — сказал он приятелю. — Я разберусь. Да посмотри, чтобы сюда никто не подходил.

Романкову приходилось сталкиваться с тем, что его принимали за другого человека, но чтобы за царя... Впрочем, ведь он внешне был очень похож на Николая Второго. Даже без грима. Все так, если бы не нынешнее время, слишком далекое от царского.

Николай Александрович подвел старушку к стоявшей под кустом акации скамье и, усадив ее, сам присел рядом.

— Ой, Господи, — продолжала причитать старушка. — Услышал молитвы наши... А мы тебя так ждали, государь-батюшка, так ждали. Измучились все без тебя. Совсем уж было отчаялись, а ты вот взял и явился.

— Да вот, как видишь, матушка, — решил не разочаровывать старушку Романков.

— Ну и слава Богу. Радость-то какая!

— Но что же в этом радостного, матушка?

— Как же! Мы ведь никогда и не верили, что тебя, царя нашего, и всю семью твою царскую большаки сгубили. И все ждали твоего явления.

— Не верили? Это как же?

— А вот так. Не верили, и все тут.

— И что же тогда говорили о государе и его семье? — заинтересованно спросил Романков.

— А говорили, что царская семья не погибла. Господь всех чудесным образом спас, и они жили по разным местам. Вместе-то нельзя было — боязно. Из-за страха даже имена пришлось поменять... Сказывали, что ты с супругой своей Александрой Федоровной под Костромой где-то обитал. Ты, говорили, в каком-то учреждении работал, а она в больнице медсестрой была... У нас недалеко в одной деревне монашка Ольга жила. Я ее тоже знавала. Так вот, когда она умирала, то призналась, что она царская дочь Анастасия. Мы с подружкой моей Полюшкой потом на могиле ее многие годы лампадку возжигали в день ангела, — закончила старушка свой рассказ и перекрестилась.

— Сколько тебе самой-то годков, матушка?

— А с Рождества, батюшка, девяносто второй идет.

— Из каких же ты мест будешь, матушка, и как мне тебя звать-величать?

— Анна Васильевна Шачина я, батюшка. А оттуда буду, откуда все цари Романовы пошли. Костромские мы. Я и родилась недалеко от Домнина, где Иван Сусанин старостой был.

— Понятно, — кивнул Романков. — А как ты здесь-то оказалась, Анна Васильевна?

— Так ведь меня сын каждый год к себе на зиму привозит. А на лето я опять в деревню уезжаю. Без дома родного жить не могу. Тянет туда все время... — Старушка ненадолго задумалась, будто что вспоминая, а потом вновь оживилась. — Я вот сыну своему про тебя, государь-батюшка, давно говорю, а он все смеется и не верит. Зато внук мой Сережка меня понимает и поддерживает. Газету мне читал недавно, где прописано, что ты жив. А сегодня утром говорит: поедem, я тебе царя покажу. Вот и приехали, вот и увидела я тебя. Слава Богу! — опять обрадованно воскликнула старушка.

Николай Александрович смотрел на светлое морщинистое ее лицо с бывшими когда-то голубыми, а теперь поблекшими глазами, точно такими же, как и у его недавно умершей матери, и вдруг чувство какой-то вины перед этими вот старушками, перед собственной матерью внезапно охватило его. Он вдруг ясно представил свою мать, которую навещал редко и которая, он знал это, постоянно ждала его. «Как же мы виноваты перед ними, столько ради нас пережившими... Прости меня, Господи!» — мысленно произнес Романков, а вслух спросил:

— Ну и какова же нынче жизнь, матушка?

— А худая, батюшка, жизнь. Ничего хорошего.

— Что так?

— Ой, государь-батюшка, если все рассказывать... — вздохнула Анна Васильевна.

— А ты, матушка, хотя бы не все, — настаивал Романков.

— Мрет народ русский, батюшка. Убывает народом Россия, — сокрушенно произнесла старушка.

— Отчего же, Анна Васильевна?

— Стариков лечить нечем. Лекарства дорогие, и за все из своего кармана плати... Мужики пьют горькую, будто с ума посходили, и много их гибнет от водки. Теперь вот и бабы не отстают. Тоже попивать стали. Подумать только — рожать не хотят! Что еще... — призадумалась старушка. — Вот поля в деревне лесом зарастают. Такого даже при большаках не было, а уж про твое царское время и говорить нечего... Много детей-сирот при живых родителях, беспризорных и безграмотных. На большие миллионы столько развелось, что и не высказать. Люди стали злее, одичали совсем. Каждый по-своему жить хочет. За деньги готовы и мать родную продать... А пенсионеры, батюшка, так те просто голодают. У них, государь, круглый год пост... Разве это жизнь?

— Но ведь изменить жизнь народ наш сам захотел.

— Сам, сам, батюшка. Тут и говорить нечего. Сами головой в омут бросились. Думали, что лучше жить начнут, когда большаков скинут... А после тех явились какие-то демократы, и нам еще хуже, чем при большаках, стало. Мы и оглянуться не успели, как они все разворовали, что другие строили. И на земле, и под землей. Все под себя загребли, а о нас как не думали, так и не думают.

— Ну и отчего же такое случилось, матушка? Как вот ты обо всем этом думаешь?

— А все оттого, государь-батюшка, что правят Россией не наши, не православные.

— Не наши? А чьи же?

— Не знаю, государь, — почти шепотом сказала старуха и наклонилась к Романкову. — Вроде и Кремль-то бесы захватили. Говорят, что какая-то мафия правит на всех этажах и будто бы от самой Москвы и до самых до окраин. Куда ни глянешь — везде одни нехристи, батюшка. Все говорят и говорят. Уже много лет наговориться не могут. Как глухари на току. Все знают, что надо делать, а дела нет. И вот все эти говоруны да нехристи хотят и дальше править Россией и народом русским. Не допустить, государь.

— Да я, матушка, и сам все вижу. Россия сопротивляется нашествию бесовскому, но из последних сил. Вижу и как растаскивают Россию.

— Вот-вот... А теперь спят и видят, как бы всю землю распродать, твари продажные, прости Господи... Хорошо, что ты пришел, государь-батюшка. Когда власть-то в свои державные руки возьмешь? — неожиданно спросила старушка.

— Не знаю, матушка. Пока не зовут, да и время, видно, еще не пришло.

— Нет, батюшка, в самый раз. Пора, государь, пора. Устали мы от бестолковщиков, а с тобой будут лад и согласие... Наш сельский батюшка отец Василий недавно сказывал нам на проповеди, что только Богом и царем православным стояла и стоять будет русская земля наша. А внук мой Сережка в старой книге вычитал, что земля у нас богатая, да порядка в ней нет. Будто про сегодня писано... А еще сказал, что, дескать, не знаю, куда наша тройка русская и несется, куда скачет — неведомо... Вот и приходи, государь-батюшка, садись на престол свой, бери в руки вожжи и правь с Богом, со Христом, да порядок-то и наведи. Боле некому, кроме тебя...

— Так-то оно так, Анна Васильевна, — начал было Романков, но тут к ним подошел Смирнов-Бенкендорф.

— Пора, ваше величество, — обратился он к Романкову.

— Да, да, Павел Константинович, — привычно по роли ответил ему Романков. — Сейчас иду.

Он поднялся со скамьи и протянул руку старушке, которая тоже встала, опираясь на гладкий и тонкий батожок.

— Ну, спасибо тебе, матушка Анна Васильевна, за беседу. Очень был рад познакомиться.

Анна Васильевна поклонилась в пояс.

— А уж я-то как рада, государь ты наш батюшка, так и не высказать. Дай Бог тебе здоровья. Больно дел у тебя много.

— Ничего, матушка, справимся с Божьей помощью.

— Храни тебя Господь, государь. А я если доживу, так весной опять в деревню поеду и там всем нашим скажу, что тебя видела и что ты жив и здоров.

— Передай, что я тоже думаю, как и они, и что мне тоже больно за Россию нашу.

Старушка опять поклонилась, а потом повернулась и быстро засемила через дорогу к веревочному ограждению, за которым стояла толпа любопытствующего народа. Лицо ее светилось почти детской радостью и счастьем. Так бывает, когда ребенку скажет доброе слово родной отец.

Николай Александрович долго смотрел вслед Анне Васильевне Шапиной, и ему казалось, что вот сейчас, в эти самые мгновения, что-то уходит из его жизни и больше уже никогда не вернется.